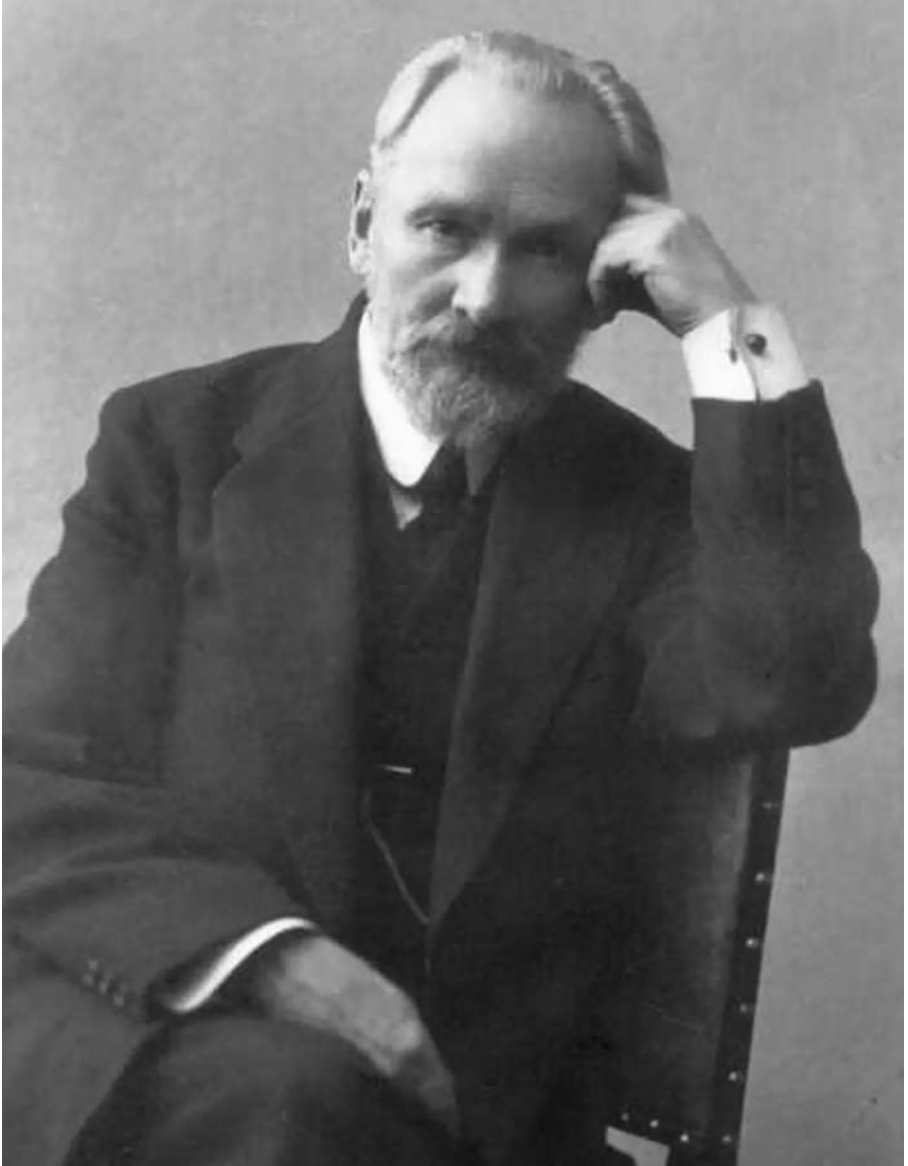


Серия
«Антология мысли»



1856—1919

В. В. Розанов

Опавшие листья

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2019

УДК 13+82
ББК 87
Р64

Автор:

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский религиозный философ и публицист.

Розанов, В. В.

Р64 Опавшие листья / В. В. Розанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Серия : Антология мысли).

ISBN 978-5-534-05692-1

Василий Розанов — литературный критик и одна из самых заметных фигур эпохи расцвета российской философии Серебряного века. Литературное творчество и философия были для него жизнью, ежедневным занятием и необходимостью. Его философия оказала значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в.

«Опавшие листья» — уникальный опыт для русской философии. Розанов никогда не пытался написать ничего собственно «художественного» и создал уникальное произведение — «Опавшие листья», жанр которого с трудом поддается определению, поскольку это мысли и впечатления автора, которые «текут непрерывно». Философ чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдения на клочках бумаги. Каждый лист — размышление автора о том или ином событии в жизни.

Для широкого круга читателей.

УДК 13+82
ББК 87

Оглавление

| | |
|--|-----|
| КОРОБ ПЕРВЫЙ | 7 |
| КОРОБ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДНИЙ | 119 |
| Новые издания по дисциплине «Философия» и смежным дисциплинам | 294 |

КОРОБ ПЕРВЫЙ



Я думал, что все бессмертно. И пел песни.
Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.

(три года уже).

* * *

Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.
Даже не интересно...

* * *

Что значит, когда «я умру»?
Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому
жильцу.

Еще что?

Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам?

Сам? — *ничего*.

Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут
в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни
имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

* * *

Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего *бесси-*
лия, глубокой ограниченности. Молитва — где «я не могу»; где «я могу»
нет молитвы.

* * *

Общество, *окружающие* убавляют душу, а не прибавляют.

«Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа в душу»
и «один ум». Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа рас-
цветает.

И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.

(за утр.н. чаем).

* * *

И бегут, бегут все. Куда? зачем?

— Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?¹

Да тут — не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся. Это
скетинг-ринг, а не жизнь.

(на Волкове).

¹ Хочу (лат.).

* * *

Да. Смерть — это тоже религия. Другая религия.

Никогда не приходило на ум.

Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

Смерть — конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два — ноль».
(*смотря на небо в саду*).

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд — дают ноль.
Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду — дают ноль.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем? Или неужели сказать, что смерть *сильнее* самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама — Бог? на Божьем месте?

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

* * *

Смерть «бабушки» (Ал. Адр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было *грустно за нее*. Но я и «со мною» — ничего не переменилось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне *не нужна*? Ужасное подозрение. Значит, вещи, лица и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения *в них, так сказать, взятых от подошвы до вершины*, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это *одиночество вещей* еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем и дети, *погоревав*, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена *настанет только для нас*. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но *целого, всего* — ужасно.

Я кончен. Зачем же я жил?!!!

* * *

Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, — как обеднялась бы моя жизнь и *личность*. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И верно, все скоро оборвалось бы.

...о чем писать?

Все написано *давно* (Лерм.).

Судьба с «другом» открыла мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

* * *

Как *самые счастливые* минуты в жизни мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алек. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден *созерцателем*. а не *действителем*.

Я пришел в мир, чтобы *видеть*, а не *совершить*.

* * *

Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть? Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?

Нет.

Что же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

* * *

Я пролетал около тем, но не летел на темы.

Самый полет — вот моя жизнь. Темы — «как во сне». Одна, другая... много... и все забыл. Забуду к могиле. На том свете буду без тем.

Бог меня спросит:

— Что же ты сделал?

— Ничего. Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни», и — не помышлять об остальном. Остальное — в «Судьбе»: и все равно *там*. мы ничего не сделаем, а *свое* («чулок») испортим (через отвлечение внимания).

* * *

Эгоизм — не худ; это — кристалл (твердость, неразрушимость) около «я». И собственно, если бы все «я» были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., «государство» (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть 1/1000 правоты в «анархизме»: не нужно «общего», *hoiuc*“v: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы взглядеться, что такое «доисторическое существование народов»: по Дрэперу и таким же, это — «троглодиты», так как не имели «всеобщего обязательного обучения» и их не объегоривали янки; но по Библии — это был «рай». Стоит же Библия Дрэпера.

(за корректурой).

* * *

Проснулся...

Какие-то звуки... И заботливо прохожу в темном еще утре по комнатам.

С востока — светает.

На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубаху голые ножонки, — сидит Вася и, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон:

И ясны спящие громады
Пустынных улиц и светла
Адмиралтейская игла.
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...

Не дается слово... такая «Америка»; да и как «игла» на улице? И он перевирает:

...светла
Адмиралтейская игла,
Адмиралтейская звезда,
Горит восточная звезда.

— Ты что, Вася?

Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, — потому и серьезен:

— Повторяю урок.

— Так нужно учить:

Адмиралтейская **игла**.

Это шпиг такой. В несколько сажень длины, т. е. высоты.

— Шпиг? Что это??

— Э... крыша. Т. е. на крыше. Все равно. Только надо: **игла**. Учи, учи, маленькой.

И повернулся. По дому — благополучно. В спину мне слышалось:

Ад-ми-рал-тей-ска-я звезда,
Ад-ми-рал-тей-ска-я игла.

* * *

Не литература, а *литературность* ужасна; литературность души, литературность жизни. То, что всякое *переживание* переливается в играющее, живое слово: но этим все и кончается, — само *переживание* умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова. Слово не возбуждает, о, нет! оно — расхолаживает и останавливает. Говорю об оригинальном и прекрасном слове, а не о слове «так себе». От этого после «золотых эпох» в литературе наступает всегда глубокое разложение всей жизни, ее апатия, вялость, бездарность. Народ делается как сонный, жизнь делается как сонная. Это было и в Риме после Горация, и в Испании после Сервантеса. Но не примеры убедительны, а существенная связь вещей.

Вот почему литературы, в сущности, не нужно: тут прав К. Леонтьев. «Почему, перечисляя славу века, назовут все Гете и Шиллера, а не назовут Веллингтона и Шварценберга». В самом деле, «почему»? Почему «век Николая» был «веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя», а не веком

Ермолова, Воронцова и как их еще. Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет — так завалены книгами, что даже не помним полководцев. Ехидно и дальновидно поэты назвали полководцев «Скалозубами» и «Бетрищевыми». Но ведь это же односторонность и вранье. Нужна вовсе не «великая литература», а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература мож. быть и «кой-какая», — «на задворках».

Поэтому нет ли провиденциальности, что здесь «все проваливается»? что — не Грибоедов, а Л. Андреев, не Гоголь — а Бунин и Арцыбашев. Может быть. М. б., мы живем в великом окончании литературы.

* * *

Листья в движении, но никакого шума. Все обрызгано дождем сквозь солнце. И мамочка сказала:

— Посмотри.

Я глядел и думал то же. Она же думала и сказала:

— Что может быть *нище* природы...

Она не говорила, но это была ее мысль, которую я продолжал:

— И люди и жизнь их уже не так чисты, как природа...

Мамочка сказала:

— Как природа невинна. И как поэтому *благородна*...

(лет восемь назад в саду).

Когда я прочел это мамочке, она сказала:

— Это было года четыре назад.

Это еще было до болезни, но она забыла: тому — лет восемь. Она прибавила:

Ты теперь несчастен, и потому вспоминаешь о том, когда мы были счастливы.

Прихрамывая, несет полотняные туфли, потому что сапоги я снял и по ошибке поставил торжественно перед собою на перильцах балкона («куда-нибудь»).

И все хромает.

И все помогает.

— Как было нехорошо вчера без тебя. Припадок. Даже лед на голову клала (крайне редкое средство).

* * *

Иду. Иду. Иду. Иду...

И где кончится мой путь — не знаю.

И не интересуюсь. Что-то стихийное и нечеловеческое. Скорее, «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял.

(окружной суд, об «Уединен.»).

* * *

После книгопечатания любовь стала невозможной.

Какая же любовь «с книгою»?

(собираясь на именины).

* * *

Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете* — невозможно. Там, м. б., в платоновском смысле «бессмертие души» — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем случае не ошибочно.

И не то чтобы «душа Шперка — бессмертна»: а его бороденка рыжая не могла умереть. «Бызов» его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А «душа» его «бессмертна» ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.

Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не «заплатывается», с тех пор как была. Это лучше «бессмертия души», которое сухо и отвлеченно.

Я хочу «на тот свет» прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше.

(16 мая 1912 г.).

* * *

Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю *самой души*. Пытая, кажется, нахожу главный источник по крайней мере *холодности* и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в «сословном разделении».

Соловьев если не был аристократ, то все равно был «в славе» (в «излишней славе»). Мне твердо известно, что тут — не зависть («мне все равно»). Но говоря с Рачинским об *одних мыслях* и будучи *одних взглядов* (на церковн. школу), — я помню, что все им говоримое было мне *чужое*; и то же — с Соловьевым, то же — с Толстым. Я мог ими всеми тремя *любоваться* (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их *почему-то* не мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывала большее движение души, чем их «философия и публицистика» (устно). Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили» (полемика, враги и пр.). Толстой ставит то «3», то «1» Гоголю: приятное самообольщение. Все три вот и были самообольщены: и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними «водиться» (знаться). «Ну, и успевайте, господа, — мое дело сторона». С детства мне было страшно врождено сострадание: и на этот главный пафос души во всех трех я не находил никакого объекта, никакого для себя «предмета». Как я любил и люблю Страхова, любил и люблю К. Леонтьева; не говоря о «мелочах жизни», которые люблю безмерно. Почти нашел разгадку: любить можно то, или — того, о ком сердце болит. О всех трех не было никакой причины «душе болеть», и от этого я их не любил.

«Сословное разделение»: я это чувствовал с Рачинским. Всегда было «все равно», что бы он ни говорил; как и о себе я чувствовал, что Рачинскому было «все равно», что у *меня в душе*, и он таким же отдаленным любленьем любил мои писания (он их любил, — по-видимому). Тут именно сословная страшная разница; другой мир, «другая кожа», «другая шкура». Но нельзя ничего понять, если припишешь зависти (было бы слишком просто): тут именно *непонимание* в смысле невозможности усвоения. «Весь мир другой: — *его*, и — *мой*». С Рцы (дворянин) мы понимали же друг друга с $1/2$ слова, с намека; но он был беден, как и я, «не нужен в мире», как и я (себя чувствовал). Вот эта «ненужность», «отшвырнутость» от мира ужасно соединяет, и «страшно все сразу становится понятно»; и люди не на словах становятся братья.

* * *

История не есть ли чудовищное *другое* лицо, которое проглатывает людей *себе в пищу*, нисколько не думая о их счастье. Не интересуясь им?

Не есть ли мы — «я» в «Я»?

Как все страшно и безжалостно устроено.

(в лесу).

* * *

Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?

Звезды жалеют ли? Мать — жалеет: и да будет она выше звезд.

(в лесу).

* * *

Жалость — в маленьком. Вот почему я люблю маленькое.

(в лесу).

* * *

Писательство есть Рок. Писательство есть *fatum*. Писательство есть несчастье.

(3 мая 1912 г.).

...и, может быть, только от этого писателей нельзя судить *страшным* судом... *Строгим-то* их все-таки следует судить.

(4 мая 1912 г.).

* * *

1 р. 50 к.

— Я тебе, деточка, переложу подушку к ногам. А то от горячей печи голова разболится.

— Хорошо, папа. Но поставь стул (к изголовью).

Поставил.

И, улыбаясь, поднялась и, вынув что-то из-под подушки, бросила на решетку стула серебряный рубль.

— Я буду на него смотреть.

Я уже догадался: «рубль» мамочка дала, чтобы было «терпеливее» лежать.

Больна. 11 или 12 лет.

Варя в саду так и старается. Метлой больше себя сметает по дорожкам и перед балконом листья, бумажки и всякий сор, — чтобы бросить в яму.

— Хорошо, Варя.

Подняла голову. Вся красивая. Волосы как лен. Огромные серые глаза, с прелестью вечного недоумения в них, подпольного проказничества, и смелости. И чудный (от работы) румянец на щеках.

13 лет.

Это она зарабатывает свой полтинник. Больная мама говорит мне с кушетки:

— Ну, все-таки и моцион на воздухе.

Трем удовольствие, и всего обошлось в 1 р. 50 к.

Варю Таня (старшая, с нею в одной школе) зовет «белый коняшка» или «белый конек». Она в самом деле похожа на жеребеночка. Вся большая, веселая, энергичная, — и от белых волос и белого цвета кожи ее прозвали «белым конем».

Это когда-то давно-давно, когда все были крошечные и в училища еще ни одна не поступала, — я купил, увидя на окне кондитерской на Знаменской (была страстная неделя) зверьков из папье-маше. Купил слона, жирафу и зебру. И принес домой, вынул «секретно» из-под пальто и сказал:

— Выбирайте себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего.

Они, минуту смотря, схватили:

Толстенькая и добренькая Вера, с милой улыбкой

— **слона.**

Зебру, — шея дугой и белесоватая щетинка на шее торчит кверху (как у нее стриженные волосы)

— **Варя.**

А тонкая, с желтовато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная жирафа досталась

— **Тане.**

Все дети были похожи именно на этих животных, — и в кондитерской я оттого и купил их, что меня поразило сходство по типу, по духу.

Еще было давно: я купил мохнатую собачонку, пуделя. И, не говоря ничего дома, положил под подушку Вере, во время вечернего чая. Когда она пошла спать, то я стал около лестницы, отделенной лишь досчатой стеной от их комнаты. Слышу:

— Ай!

— Ай! Ай! Ай!

— Что это такое? Что это такое?

Я прошел к себе. Не сказал ничего, ни сегодня, ни завтра. И на слова: «Не ты ли положил?» — отвечал что-то грубо и равнодушно. Так она и не узнала, как, что и откуда.

* * *

Толстой был гениален, но не умен. А при всякой гениальности ум все-таки «не мешает».

* * *

Ум, положим, — мещанинишко, а без «третьего элемента» все-таки не проживешь.

Надо ходить в чищенных сапогах; надо, чтобы кто-то сшил платье. «Илья-пророк» все-таки имел милоть, и ее сшил какой-нибудь портной.

Самое презрение к уму (мистики), т. е. к мещанину, имеет что-то *на самом конце своем* — мещанское. «Я такой барин» или «пророк», что «не подаю руки этой чуйке». Сказавший или подумавший так *eo ipso*¹ обращается в псевдобарина и лжепророка.

Настоящее *господство над умом* должно быть совершенно глубоким, совершенно в себе запрятым; это должно быть субъективной тайной. Пусть Спенсер чванится перед Паскалем. Паскаль должен даже время от времени называть Спенсера «вашим превосходительством», и вообще не подавать никакого вида о настоящей *мере* Спенсера.

* * *

Мож. быть, я расхожусь не с человеком, а только с литературой? Разойтись с человеком страшно. С литературой — ничего особенного.

* * *

Левин верно упрекает меня в «эготизме». Конечно — это *есть*. И даже именно от этого я и писал (пишу) «Уед.»: писал (пишу) в глубокой тоске как-нибудь разорвать кольцо уединения... Это именно кольцо, надетое с рождения.

Из-за него я и кричу: вот что здесь, пусть — *узнают*, если уже невозможно ни увидеть, ни осязать, ни прийти на помощь.

Как утонувший, на дне глубокого колодца, кричал бы людям «там», «на земле».

* * *

.....

Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.

— Что это? — ремонт мостовой?

— Нет, это «Сочинения Розанова». И по железным рельсам несется уверенно трамвай.

(на Невском, ремонт).

¹ Вследствие этого (лат.).

* * *

Много есть прекрасного в России, 17-ое октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невск.). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери.

И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой. Полное православие.

И лавка небольшая. Все дерево. По-русски. И покупатель — серьезный и озабоченный, — в благородном подъеме к труду и воздержанию.

Вечером пришли секунданты на дуэль. Едва отделался.

В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского.

(первый день Великого Поста).

* * *

25-летний юбилей Корецкого. Приглашение. Не пошел. Справили. Отчет в «Нов. Вр.».

Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает?

Очевидно, гг. писатели идут «поздравлять» всюду, где поставлена семга на стол.

Бедные писатели. Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо «всех свобод» поставить густые ряды столов с «беломорскою семгою». «Большинство голосов» придет, придет «равное, тайное, всеобщее голосование». Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после «благодарности» требовать чего-нибудь. Так Иловайский не предвидел, что великая ставка свободы в России зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море.

«Дорого да сердито...» Тут наоборот — «не дорого и не сердито».

(март, 1912 г.).

* * *

Из каждой страницы Вейнингера слышится крик: «Я люблю мужчин!» — «Ну что же: ты — содомит». И на этом можно закрыть книгу.

Она вся сплетена из volo и scio: его scio¹ — гениально, по крайней мере где касается обзора природы. Женским глазом он уловил тысячи дотоле незаметных подробностей; даже заметил, что «кормление ребенка возбуждает женщину». (Отсюда, собственно, и происходит вечное «перекармливание» кормилицами и матерями и последующее заболевание у младенцев желудка, с которым «нет sprawy».)

¹ Знаю (лат.).

— Фу, какая баба! — Точно ты *сам кормил* ребенка, или хотел его выкормить!

«Женщина бесконечно благодарна мужчине за совокупление, и когда в нее втекает мужское семя, то это — кульминационная точка ее существования». Это он не повторяет, а *твердит* в своей книге. Можно погрозить пальчиком: «Не выдавай тайны, баба! Скрой тщательнее свои грезы!!» Он говорит о *всех женщинах*, как бы они были все его соперницами, — с этим же раздражением. Но женщины великодушнее. Имея каждая своего верного мужа, они нимало не претендуют на уличных самцов, и оставляют на долю Вейнингера совершенно достаточно брюк.

Ревнование (мужчин) к женщинам заставило его ненавидеть «соперниц». С тем вместе он полон глубочайшей нравственной тоски: и в ней раскрыл глубокою нравственностью женщин, — которую в ревности отрицает. Он перешел в христианство: как и вообще женщины (св. Ольга, св. Клотильда, св. Берта) первые приняли христианство. Напротив, евреев он ненавидит: и опять — потому, что они суть его «соперницы» (бабья натура евреев, — моя *idée fixe*). онѣ

* * *

Наш Иван Павлович врожденный священник, но не посвящается. Много заботы. И пока остается учителем семинарии.

Он всегда немного дремлет. И если ему дать выдрематься — он становится веселее. А если разбудить, становится раздражен. Но не очень и не долго.

У него жена — через 8 лет брака — стала «в таком положении». Он ужасно сконфузился, и написал предупредительно всем знакомым, чтобы не приходили. «Жена несколько нездорова, а когда выздоровит — я извещу».

Она умерла. Он написал в письме: «Царство ей небесное. Там ей лучше».

Так кончаются наши «священные истории». Очень коротко.

(за чаем вспомнил).

* * *

Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается.

(24 марта, 1912 г., купив 3 места на Волновом).

* * *

У Нины Р-вой (плем.) подруга: вся погружена в историю, космографию. Видна. Красива. Хороший рост. Я и спрашиваю:

— Что самое прекрасное в мужчине?

Она вдохновенно подняла голову:

— *Сила!*

(на побывке в Москве).

Никогда, никогда не порадуется священник «плоду чрева». Никогда. Никогда *ex cathedra*¹, а разве приватно.

А между тем есть нумизмат Б. (он производит себя от Александра Бала, царя Сирина), у которого я увидел бронзовую *Faustina jun.*, срезервом (изображение на обратной стороне монеты): женщина держит на руках двух младенцев, а у ног ее держатся за подол тоже два — побольше — ребенка. Надпись кругом.

FECVNDITAS AVCVSTAE

т. е.

ЧАДОРОДИЕ ЦАРИЦЫ.

Я был так поражен красотой этого смысла, что тотчас купил. «Торговая монета», орудие обмена, в руках у всех, у торговков, проституток, мясников, франтов, в Тибуре и на Капитолии: и вдруг императрица Фаустина (жена Марка Аврелия), такая видная, такая царственная (портрет на лицевой стороне монеты), точно вываливает беременный живот на руки «доброго народа Римского», говоря:

« — Радуйтесь, я еще родила: теперь у меня — четверо».

Все это я выразил вслух, и старик Б., хитрый и остроумный, тотчас крикнул жену свою: вышла пышная большая дама, лет на 20 моложе Б., и я стал ей показывать монету, кажется забыв немножко, что она «дама». Но она (гречанка, как и он) сейчас поняла и стала с сочувствием слушать, а когда я ее деликатно упрекнул, что «вот у нее небойсь — нет четверых», — она с живостью ответила:

— Нет, ровно четверо: моряк, студент и дочь...

Но она моментально вышла и ввела дочь, такую же красавицу, как сама. Этой я ничего не сказал (барышня), и она скоро вышла.

Вхожу через два года, отдать Б. долгишко (рублей 70) за монеты. Постарел старик, и жена чуть-чуть постарела.

Говорю ей:

— Уговорите мужа, он совсем стар, упомянуть в духовном завещании, что он дарит мне тетрадрахму Маронеи с Дионисом, держащим два тирса (трости) и кисть винограда (руб. 25), и тетрадрахму Триполиса (в Финикии, а Маронея — во Фракии) с головою Диоскуров (около ста рублей). — Б. кричит:

— Ах, вы... Я — вас переживу!

Куда, вы весь седой. Состояние у вас большое, и что вам две монеты, стоимостью в 125 р., детям же они, очевидно, не нужны, потому что это специальность. А что дочь?

— Вышла замуж!!

— Вышла замуж?! Это добродетельно. И...

— И уже сын, — сказала счастливая бабушка.

¹ С кафедры (лат.).

Она была очень хороша. Пышна. И именно как Фаустина. Ни чуточки одряхления или старости, «склонения долу»; Б., хоть весь белый, жив и юрок, как сороконожка. Уверен, самое пронизательное и «нужное» лицо в своем министерстве.

Вот такого как бы «баюкания куретами младенца Диониса» (миф, — есть на монетах), свободного, без сала, но с шутками и любящего, — нет, не было, не будет возле одежд с позументами, слишком официальных и торжественных, чтобы снизойти до пеленок, кровати и спальни.

Отсюда такое недоумение и взрыв ярости, когда я предложил на Религиозно-Философских собраниях, чтобы новобрачным первое время после венчания предоставлено было оставаться там, где они и повенчались; потому что я читал у Андрея Печерского, как в прекрасной церемонии постригаемая в монашество девушка проводит в моленной (церковь старообрядческая) трое суток, и ей приносят туда еду и питье. «Что монахам — то и семейным, равная честь и равный обряд» — моя мысль. Это — о провоздении в священном месте нескольких суток новобрачия, суток трех, суток семи, — я повторил потом (передавая о предложении в Рел.-Фил. собрании) и в «Нов. Вр.» Уединение в место молитвы, при мерцающих образах, немногих зажженных лампадах, без людей, без посторонних, без чужих глаз, без чужих ушей... какие все это может родить думы, впечатления! И как бы эти переживания протянулись длинной полосой тихого религиозного света в начинающуюся и уже начавшуюся супружескую жизнь, начавшуюся именно *здесь, в Доме молитвы*. Здесь невольно приходили бы первые «предзнаменования», — приметы, признаки, как у *vates*¹ древности. И кто еще так нуждается во всем этом, как не тревожно вступившие в самую важную и самую ценную, самую сладкую, но и самую опасную, — связь. Антоний Храповицкий все это представил совершенно не так, как мне представлялось в тот поистине час ясновидения, когда я сказал предложенное. Мне представлялась ночь, и половина храма с открытым куполом, под *звездами*, среди которого поднимаются небольшие деревца и цветы, посаженные в почву по дорожкам, откуда вынуты половицы пола и насыпана черная земля. Вот тут-то, среди цветов и дерев и под звездами, *в природе* и вместе с тем *во храме*, юные проводят неделю, две, три, четыре... Это — как бы летняя часть храма, в отличие от зимней, «теплой» (у нас на севере). Конечно, все это преимущественно осуществимо на юге: но ведь во владениях России есть и юг. Что же еще? Они остаются здесь до ясно обозначившейся беременности. Здесь — и бассейн. Ведь в ветхозаветном храме был же бассейн для погружения священников и первосвященника, «каменное море», утвержденное на спинах двенадцати изваянных быков. Почему *эту* подробность ветхозаветного культа не внести в наши церкви, где есть же ветхозаветный «занавес», где читаются «паре-

¹ Пророк (лат.).

мии», т. е. извлечения из ветхозаветных книг. И вообще со Священным Писанием Ветхого Завета у нас не разорвано. Да и в Новом Завете... Разве мы не читаем там, разве на богослужении нашем не возглашается: «Говорю вам, что *Царствие Божие подобно Чертогу Брачному...*» «Чертогу брачному»!! конечно, это не в смысле танцующей вечеринки гостей, которая не отличается от всяких других вечеринок и к браку никакого отношения не имеет, а в смысле — комнаты двух новобрачных, в смысле их опочивальни. Ужели же то, с чем *сравнена* самая суть *того*, о чем учил Спаситель (Царствие Божие), — неужели это низко, грязно и недостойно того, чтобы мы часть церкви своей приспособили, — украсив деревьями, цветами и бассейном, — к этому образу в устах Спасителя?! Внести в нашу церковь *Чертог брачный* и была моя мысль. Нет, верно указание Рцы, много раз им повторенное (а он ли не религиозен и не предан православию, взяв самый псевдоним свой от диаконского «рцы», «рцем»), что «тесто *еще не взошло* (евангельская притча) и закваска (дрожжи) *не овладела всею мукою, всыпанною в сосуд*». Эта «мука, всыпанная в сосуд», есть вся наша жизнь. *Весь наш быт*. Вот этим бытом еще не овладели *вполне* «дрожжи», евангельская «закваска», т. е. Слово Божие, целые Божии притчи, образы, сравнения!!! Позвольте: да в церкви Смоленского кладбища я, хороня старшую Надю, видел комнату с вывеской над дверью: «*Контора*»; какого имени и какового смысла с *утвердительным* значением нигде нет в Евангелии. Позвольте, скажите вы, владыка Антоний, — почему же «*Контора*» выше и священнее «*Чертога брачного*», о котором, *и не раз*, Спаситель говорил любяще и уважительно. И если внесена сейчас «*Контора*» в храмы, не обезобразив и не загрязнив их, то почему это храмы наши загрязнились бы через внесение в них нареченных с любовью Спасителем Чертогов брачных?! — конечно, не одного, а многих, потому что в течение 2—3-х месяцев до беременности вот этой молодой, положим, Марии, повенчается еще много следующих Лиз и Катерин. Подобное внесение просто лишь «непривычно», мы не привыкли «видеть». Но «мы не привыкли» и «ересь» — это разница. При этом, разумеется, никаких актов (как предположил же еп. Антоний!!!) *на виду* не будет, так как после грехопадения всему этому указано быть *в тайне и сокровени* («кожаные препоясания»); и именно для воспоминания об этом потрясающем законе отдельные чертоги (в нишах стен? возле стен? позади хоров?) *должны быть завешены именно ножами, шкурами зверей*, имея открытым лишь верх для соединения с воздухом храма. Как было не понять моей мысли: раз все здесь — религия, то, конечно, все должно быть деликатно и не оскорбительно для взора и для ума. Все — именно так, как и привыкли в супружестве: где чистейшие семьи и благороднейшие дома, напр. дома священников, не оскверняются сами и не оскорбляют ни взора, ни ума тем, что в них оплодотворяются и множатся, а при замужестве дочери («взяли зятя в семью») оплодотворяются и множатся родители и дети. Почему же не к *такой семье*, почему именно к *одиноким квартире* ректора-архимандрита должен

быть придвинут по образу, по типу и но духу наш православный храм, в котором молитвенников-семьянинов, конечно, больше, нежели холостых или вдовствующих!!!???!

Непонятно — у Храповицкого.

А моя мысль — совершенно понятна.

* * *

Совершенства нет на земле...

Даже и совершенной церкви...

(ужасное по греху письмо Альбова).

* * *

Мед и розы...

И в розе — младенец.

«Бог послал», — говорит мир.

— «Нет, — говорят старцы-законники: — От лукавого».

Но мир уже перестал им верить.

(в клинике Ел. Павл.).

* * *

В невыразимых слезах хочется передать все просто и грубо, унижая милый предмет: хотя в смысле *напора* — сравнение точно:

Рот переполнен слюной, — нельзя выплюнуть. Можно попасть в старцев.

Человек ест дни, недели, месяцы: нельзя сходить «кой-куда», — нужно все держать в себе...

Пил, пьешь — и опять нельзя никуда «сходить»...

Вот — девство.

— Я задыхаюсь! Меня распирает!

« — Нельзя».

Вот монашество.

Что же такое делает оно? Как могло оно получить от земли, от страны, от законов санкцию себе не как личному и исключительному явлению, а как некоторой норме и правилу, как «образцу христианского жития, если его суть просто никуда «не ходи», когда желудок, кишки, все внутренности расперты и мозг отравлен мочевиною, всасывающейся в кровь, когда желудок отравлен птомаинами, когда начинается некроз тканей всего организма.

— Не могу!!!!

« — Нельзя!»

Умираю!!!!

« — Умирай!»

Неужели, неужели это истина? Неужели это *религиозная истина*? Неужели это Божеская правда на земле?

Девушки, девушки стойте в вашем стоянии! Вы посланы в мир живом, а не головою: вы — охранительницы Древа Жизни, а не каменных ископаемых деревьев, находимых в угольных копях.

Охраняйте Древо Жизни — вы его Ангел «с мечом обращающимся». И не опускайте этот меч.

(в клинике Ел. Павл.).

* * *

Семь старцев за 60 лет, у которых не поднимается голова, не поднимаются руки, вообще ничего не «поднимается», и едва шевелятся челюсти, когда они жуют, видите ли, не «посягают на женщину» уже, и предаются безбрачию.

Такое удовольствие для отечества и радость Небесам.

Все удивляются на старцев:

— Они в самом деле не посягают, ни явно, ни тайно.

И славословят их. И возвеличили их. И украсили их «Живые боги на земле».

Старцы жуют кашку и улыбаются:

Мы действительно не посягаем. В вечный образец дев 17-ти лет и юношей 23-х лет, — которые могут нашим примером вдохновиться, как им удерживаться от похоти и не впасть в блуд.

Так весело, что планета затанцует.

(в клинике Ел. Павл.).

* * *

Как же бы я мог умереть не *так* и не *там*, где наша мамочка. И я стал опять православным.

(клиника Ел. Павл.).

* * *

Все *очерчено* и *окончено* в человеке, кроме половых органов, которые кажутся около остального каким-то многоточием или неясностью... которую встречает и с которой связывается неясность или многоточие другого организма. И тогда — оба *ясны*. Не от этой ли *неоконченности* отвратительный вид их (на который все жалуются): и — восторг в минуту, когда недоговоренное — кончается (акт в ощущении)?

Как бы Б. хотел сотворить *акт*: но не исполнил движение свое, а дал его *начало* в мужчине и *начало* в женщине. И уже они оканчивают это первоначальное движение. Отсюда его сладость и неодолимость.

В «s» же (*utriusque sexus homines*)¹ все уже *кончено*: вот отчего с «s» связано столько таланта.

* * *

Одни молоды, и им нужно веселье, другие стары, и им нужен покой, девушкам — замужество, замужним — «вторая молодость»... И все толкаются, и вечный шум.

¹ Оба человеческих пола (*лат.*).

Жизнь происходит от «неустойчивых равновесий». Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни.

Но неустойчивое равновесие — тревога, «неудобно мне», опасность. Мир вечно тревожен, и тем живет.

Какая же чепуха эти «Солнечный город» и «Утопия»: суть коих *вечное счастье*. Т. е. окончательное «устойчивое равновесие». Это не «будущее», а смерть.

(проводя Верочку в Лисино, вокзал).

* * *

Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм — буря, дождь, ветер...

Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: «Неужели он (соц.) *был?*» «И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?»

— О, да! И еще скольких этот град побил!!

— «Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?»

* * *

Что я все *надавил* на Добчинских? Разве они не рады бы были быть как Шекспир? Ведь я, собственно, *на это* сержусь, почему «не как Шекспир», — не на *тему* их, а на способ, фасон, стиль. Но «где же набраться Шекспиров», и неужели *от этого* другим «не жить»?..

Как много во мне умерщвляющего.

И опять пустыня.

Всякому нужно жить, и Добчинскому. Не я ли говорил, что «есть идея и *волоса*» (по Платону), идея — «ничего», даже *отрицательного* и порока. Бог меряет не верстами только, но и миллиметрами, и «миллиметр» ровно так же нужен, как и «верста». И все живут. «Трясут животинками»... Ну и пусть. Мое дело *любоваться*, а не ненавидеть.

Любовался же я в Нескучном (Мое.), глядя на пароходик. «Гуляка по садам» (кафешантанам), положив обе руки на плечи гуляки же, говорил:

Один — и *никого!*

Потом еще бормотанье и опять выкрик:

— Вообрази: один и *никого!*

Это он рассказывал, очевидно, что «вчера пришел туда-то», и — *никого* из «своих» не встретил.

Он был так художествен, мил в своей радости, что «вот теперь с приятелем едет», что я на десятки лет запомнил. И что я его тогда *любил*, он мне *нравился* — это доброе во мне. А «литература» от лукавого.

(за статьей о пожарах).

* * *

Рассеянный человек и есть *сосредоточенный*. Но не на ожидаемом или желаемом, а на другом и *своем*.

* * *

Имей всегда сосредоточенное устремление, не глядя по сторонам. Это не значит: будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде: но душой никогда не смотри на многое, а на *одно*.

* * *

...а все-таки тоскуешь по известности, по признанности, твердости. Есть этот червяк, как пот в ногах, сера в ушах. Все зудит. И все вонь. А ухо хорошо. И нога хороша. Нужно эту гадость твердо очертить, и сказать: плюйте на нее.

Поразительно, что у Над. Ром., Ольги Ив. (жена Рцы) и «друга» никогда не было влечения к известности хотя бы в околотке. «Все равно». И по этим качествам, т. е. что они не имели самых неизбывных качеств человека, я смотрел на них с каким-то страхом восторга.

* * *

Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, — мы и не должны отходить от нее... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости — тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого. Так да будет...

(за уборкой библиотеки).

* * *

Как зачавкали губами и «идеалист» Борух, и «такая милая» Ревекка Ю-на, «друг нашего дома», когда прочли «Темн. Лик». Тут я сказал в себе: «Назад! Страшись!» (мое отношение к евреям).

Они думали, что я не вижу: но я хоть и «сплю вечно», а подглядел. Ст-ъ (Борух), соскакивая с санок, так оживленно, весело, *счастливо* воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:

— Ну а все-таки — *он лжец*.

Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Ш..ы в комнате: «Н-н-н... да... Я прочла «Т. Л.». И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое.

Таких *физиологических* (зрительно-осязательных) вещиц надо увидеть, чтобы понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, в сказаниях. Действительно, есть какая-то *ненависть* между *Ним* и еврейством. И когда думаешь об этом — становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: «Распни *Его*».

Думают ли об этом евреи? толпа? По крайней мере никогда не высказываются.

(за уборкой библиотеки).

* * *

Да... вся наша история немножечко труппа, и вся наша жизнь немножечко труппа. Тут и администрация и *citoyens*¹.

(в вагоне).

* * *

Сколько изнурительного труда за подбором матерьяла (и «примечаний» к нему) в «Семейном вопросе». Это мои литературные «рудники», которые я прошел, чтобы помочь семье. Как и «Сумерки просвещения» — детям. И сколько в *каждой странице* любви. Самая причина сказать: «Он ничего не чувствует», «Ничего ему не нужно».

(вагон; думая о критиках своих).

* * *

Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого «смерть». Разве *это* возможно как-нибудь назвать? Разве *оно* имеет имя? Имя — уже определение, уже «что-то знаем». Но ведь мы же об этом *ничего не знаем*. И, произнося в разговорах «смерть», мы как бы танцуем в бланманже для ужина или спрашиваем: «Сколько часов в миске супа?» Цинизм. Бесмыслица.

* * *

Как я отношусь к молодому поколению?

Никак. Не думаю.

Думаю только изредка. Но всегда мне его жаль. Сироты.

* * *

Любовь есть боль. Кто не болит (о другом), тот и не любит (другого).

* * *

Литература (печать) прищемила у человека *самолюбие*. Все стали бояться ее; все стали *ждать* от нее... «Эти мошенники, однако, раздают монтюновские премии». И вот откуда выросла ее *сила*.

Сила ее оканчивается там, где человек *смежает на нее глаза*. «Шестая держава» (Наполеон о печати) обращается вдруг в посеревшую хилую деревушку, как только, повернувшись к ней спиной, вы *смотрите на дело*, а не на ландкарту с надписью: «Шестая держава».

* * *

Революция имеет два измерения — длину и ширину; но не имеет третьего — глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь *спелого, вкусного плода*; никогда не «завершится»...

Она будет все расти *в раздражение*; но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: «Довольно! Я — счаст-

¹ Граждане (*франц.*).

лив! *Сегодня* так хорошо, что не надо *завтра*... Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на «завтра»... И всякое «завтра» ее обманет и перейдет в «послезавтра». *Perpetuum mobile, circulus vitiosus*¹, и не от бесконечности — куда! — а именно от короткости. «Собака на цепи», сплетенной из своих же гнилых чувств. «Конура», «длина цепи», «возврат в конуру», тревожный коротенький сон.

В революции нет радости. И *не будет*.

Радость — слишком царственное чувство, и никогда не попадет в объятия этого лакея.

Два измерения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механична, она матерьялистична. Но это — не случай, не простая связь с «теориями нашего времени»; это — судьба и вечность. И, в сущности, подспудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толкнула всех их понести на своих плечах Конта-Спенсера и подобных.

* * *

Революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая, *archeus agens*² ее — горечь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это — чернота, демократия. Верхняя пластинка — золотая: это — сибариты, обеспеченные и *не делающие*; гуляющие; *не служащие*. Но они чем-нибудь «на прогулках» были уязвлены, или — просто слишком добры, мягки, уступчивы, конфетны. Притом в своем кругу они — только «равные», и кой-кого даже непременно пониже. Переходя же в демократию, они тотчас становятся *primi inter pares*³. Демократия очень и очень умеет «целовать в плечико», ухаживать, льстить: хотя для «искренности и правдоподобия» обходится грубовато, спорит, нападает, *подшучивает* над аристократом и его (теперь вчерашним) аристократизмом. Вообще демократия тоже знает, «где раки зимуют». Что «Короленко первый в литераторах своего времени» (после Толстого), что Герцен — аристократ и миллионер, что граф Толстой есть именно «граф», а князь Кропоткин был «князь», и, наконец, что Сибиряков имеет золотые прииски — это она при всем «социализме» отлично помнит, учтиво в присутствии всего этого держит себя, и отлично учитывает. Учитывает не только как выгоду, но и как *честь*. Вообще в социализме лакей неустрашим, но только очень старательно прикрыт. К Герцену все лезли и к Сибирякову лезли; к Шаляпину лезут даже за небольшие рубли, которые он выдает кружкам в виде «сбора с первого спектакля» (в своих турне: я слышал это от социал-демократа, все в этой партии знающего, и очень удивился). Кропоткин не подписывается просто «Кропоткин», «социалист Кр.», «гражданин Кр.», а «князь Кропоткин». Не забывают даже, что Лавров был *профессором*. Ничего, одним сло-

1 Вечный двигатель, порочный круг (*лат.*).

2 Перводвигатель (*лат.*).

3 Первые среди равных (*лат.*).

вом, не упускают из *чести*, из тщеславия: любят сладенькое, как и все «смертные». В то же время так презирая «эполеты» и «чины» старого строя...

Итак, две пластинки: движущая — это черная рать внизу, «нам *хочется*», и — «мы не сопротивляемся», пассивная, сверху. Верхняя пластинка — благочестивые Катилины; «мы великодушно сождем дом, в котором сами живем и жили наши предки». Черная рать, конечно, вселится в дома этих предков: но как именно это — *черная рать*, не только по бедности, но и по существу бунта и злобы (два измерения, *без третьего*), то в «новых домах» она не почувствует никакой радости: а как Никита и Акулина «в обновках» (из «Власти тьмы»):

« — Ох, гасите свет! Не хочу чаю, убирайте водку!»

Венцом революции, *если она удастся*, будет великое *volò*:

— Уснуть.

Самоубийства — эра самоубийств...

И тут Кропоткин с астрономией и физикой и с «дружбой Реклю» (тоже тщеславие) очень мало помогут.

* * *

Есть дар слушания голосов и дар видения лиц. Ими проникаем в душу человека.

Не всякий умеет слушать человека. Иной слушает слова, понимает их связь и связно на них отвечает, Но он не уловил «подголосков», *теней звука «под голосом»*, — а в них-то, и притом в них одних, говорила душа.

Голос нужно слушать и в чтении. Поэтому не всякий «читающий Пушкина» имеет что-нибудь общее с Пушкиным, а лишь кто вслушивается в голос *говорящего* Пушкина, угадывая интонацию, какая была у живого. Кто «живого Пушкина не слушает» в перелистываемых страницах, тот как бы все равно и не читает его, а читает кого-то взамен его, уравнительного с ним, «такого же образования и таланта, как он, и писавшего на те же темы», — но не *самого его*.

Отсюда так чужды и глухи «академические» издания Пушкина, заваленные горою «примечаний», а у Венгерова — еще аляповатых картин и всякого ученого базара. На Пушкина точно высыпали сор из ящика: и он весь пыльный, сорный, загроможденный. Исчезла — в самом *виде и внешней форме* издания — главная черта его образа и души: изумительная *краткость во всем и простота*. И конечно, *лучшие* издания и даже единственные, которые можно держать в руке без отвращения, — старые издания его, на толстоватой бумаге, каждое стихотворение с новой страницы (изд. Жуковского). Или — отдельные при жизни напечатанные стихотворения. Или — его стихи и драматические отрывки в «Северн. Цветах». У меня есть «Борис Годунов» 1831 года и 2 книжки «Северн. Цвет.» с Пушкиным; и — издание Жуковского.

Лет через 30 эти издания будут цениться как золотые, а мастера будут абсолютно повторять (конечно, без цензурных современных урезок) бумагу, шрифты, расположение произведений, орфографию, формат и переплеты.

В таком издании мы можем достигнуть как бы слушания Пушкина. Недостижение через печать *до голоса* сделало безразличие того, кто берется «издавать» и «изучать» Пушкина и составлять к нему «комментарии». Нельзя не быть удивленным, до какой степени теперь «издатели классиков» не имеют ничего, связывающего с издаваемыми поэтами или прозаиками. «Им бы издавать Бонч-Бруэвича, а они издают Пушкина». Универсально начитанный «товарищ», в демократической блузе, охватил Пушкина «как он есть», в шинели с бобровым воротником и французской шляпе, и понес, высоко подняв над головой (уважение) — как медведь Татьяну в известном сне.

И сколько общего у медведя с Татьяной, столько же у теперешних комментаторов с Пушкиным.

К таинственному и трудному делу «издательства» применимо архимедовское

*Noli tangere meos circulos*¹.

* * *

Душа озябла...

Страшно, когда наступает озноб души.

* * *

Возможно ли, чтобы позитивист заплакал?

Так же странно представить себе, как что «корова поехала верхом на кирасире».

И это кончает разговоры с ним. Расстаюсь с ним **вечным расставанием**.

Позитивизм в тайне души своей или точнее в сердцевине своего бездушия:

И пусть *бесчувственному телу*
Равно повсюду *истлеть*.

Позитивизм — философский мавзолей над умирающим человечеством.

Не хочу! Не хочу! Презираю, ненавижу, боюсь!!!

* * *

Как увядающие цветы люди.

Осень — и ничего нет. Как страшно это «нет». Как страшна осень.
(на извозчике).

¹ Не прикасайся к моим кругам (лат.).

* * *

Тяжелым утюгом гладит человека Б.

.....
.....
.....
.....

И расправляет душевные морщины.

.....
.....
.....

Вот откуда говорят: бойся Бога и не греши.

(на извозчике ночью).

* * *

Велик горб человечества, велик горб человечества, велик горб человечества...

Идет, крихтит, с голым черепом, с этим огромным горбом за спиною (страдания, терпение) великий древний старик; и кожа на нем почернела, и ноги изранены...

Что же тут молодежь танцует на горбе? «Мы — последние», все — «мы», все — «нам».

Ну, танцуйте, господа.

(за нумизматикой).

* * *

На «том свете» мы будем немыми.

И восторг переполнит наши души.

Восторг всегда нем.

(за набивкой табаку).

* * *

Все жду, когда Григорий Спиридонович П-в напишет свою автобиографию. Ведь он замечательный человек.

Конечно, Короленко — более его замечательный человек: и напечатал чуть не том своего жизнеописания, под грациозной вуалью: «История моего современника». Но отчего же не написать и Гр. Сп. П-ву? Не один Кутузов имел себе Михайловского-Данилевского: мог бы иметь и Барклай-де-Толли. Отчего «нашим современникам» не соединить в себе полководца и жизнеописателя, — так сказать, поместить себе за пазуху «Михайловского-Данилевского» и продиктовать ему все слова.

— «Мне Тита Ливия не надо», — говорят «современные» Александры Македонские. «Я довольно хорошо пишу, и опишу сам свой поход в Индию».